

Д-р. Д. ГРИШИН

**Афоризмы и высказывания
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

Мельбурн

1961

АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Д-р. Д. ГРИШИН

**Афоризмы и высказывания
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

Мельбурн

1961

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Публикуемые нами афоризмы и высказывания Достоевского, в основном, выбраны из его трехтомного «Дневника писателя». Чтобы дать представление об этом замечательном, но, к сожалению, малоизвестном произведении, мы помещаем, кроме небольшого вступления, статью: «Генезис и предыстория «Дневника писателя». Автор статьи и составитель сборника — лектор Факультета Русского языка и Литературы Мельбурнского Университета, кандидат филологических наук (Москва, 1941) и доктор философии (Мельбурн. 1957), Д. В. Гришин — специалист достоевед. Работая над своей докторской диссертацией, посвященной «Дневнику писателя», он обратил внимание на афористичность последнего и, на основании тщательного изучения текста, выбрал наиболее яркие и характерные афоризмы и высказывания Достоевского.

Для удобства ориентации, все афооризмы распределены по следующим группам: «Россия и русские», «Литература и искусство», «Религия», «Европа».

Афоризмы, которые не относятся ни к одной из перечисленных групп, объединены под заглавием: «Афоризмы и высказывания на разные темы».

В заключении можно сказать, что настоящая брошюра является первой попыткой систематизированного представления взглядов Достоевского. Мы думаем, что каждому будет интересно и полезно ознакомиться с ее содержанием.

“Aphorisms and observations by F. M. Dostoevsky”

Dr. D. Grishin.

Printed and published by
“Unification” Printers & Publishers Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, C 1, Australia

All rights reserved.

ОГЛАВЛЕНИЕ

CONTENTS

	Страница
«"Дневник писателя" Ф. М. Достоевского», Д. Гришин	1—4
" "The Diary of a writer" by F. M. Dostoevsky", D. Grishin.	
1. Афоризмы и высказывания на разные темы	5—18
Aphorisms and observations on various topics.	
2. Литература и искусство	19—37
Literature and art.	
3. Религия	38—40
Religion	
4. Россия и русские	41—56
Russia and the Russians.	
5. Европа	57—61
Europe.	
«Генезис и предыстория "Дневника писателя"	
— Д. Гришин	62—77
The origin and background of Dostoevsky's "The Diary	
of a writer", — D. Grishin.	

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Критическая литература о творчестве Достоевского обширна, но большинство исследований посвящено его романам.

«Дневник писателя», издававшийся (с перерывами) с 1873 по 1881 год и состоящий из трех томов, все еще остается «белым пятном», хотя этот труд является энциклопедией творчества Достоевского, его экспериментальной лабораторией и складом материалов для других произведений.

«Дневник» дает возможность выяснить творческий процесс писателя, понять особенности его «высшего реализма», понять его эстетические и этические взгляды.

В «Дневнике» во весь рост отразился его создатель, в «Дневнике» Достоевский говорит во весь голос. «Дневник» дает возможность получить правильное представление о мировоззрении писателя. «Дневник» своеобразен, как и его автор.

«Дневник» — ключ к пониманию творческой деятельности Достоевского. В нем писатель ставит на разрешение целый ряд важнейших проблем. В «Дневнике» разбросано много ценных воспоминаний, которые проливают свет на такие запутанные вопросы, как например, деятельность Достоевского в кружке Петрашевского. В «Дневнике» напечатаны критические статьи о творчестве Пушкина, Толстого, Некрасова и других писателей. Кроме того, в «Дневнике» было опубликовано несколько художественных произведений: «Бобок», «Кроткая», «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Сон смешного человека» и др.

Необычайное разнообразие содержания требовало соответствующей формы, которую писатель удачно создал. Конечно, сама по себе форма дневника была не нова, но Достоевский в слово «дневник» вложил новый смысл.

Чтобы нагляднее представить огромный контраст между «дневником» в обычном смысле и «Дневником» Достоевского, достаточно сравнить «Записки» А. Г. Достоевской с «Дневником» Федора Михайловича. Если в «Записках»

Анны Григорьевны все посвящено личному (семейные события, денежные затруднения, борьба с кредиторами), то «Дневник писателя» посвящен общественным вопросам. Прошедшее, настоящее, а главным образом, будущее России, русского народа и человечества, вот что особо интересует Достоевского. Почему же Достоевский не назвал свое издание журналом, а остановился на слове «дневник»?

По всей вероятности, в поисках соответствующей формы, он встретился с трудностями. Специфические виды публицистики не соответствовали тем задачам, которые писатель перед собой ставил.

Достоевский хотел свободно разговаривать с читателем на любые темы, не ограничивая себя какими бы то ни было рамками.

Вот, например, оглавление «Дневника» за сентябрь 1877 г. «Глава 1. Несчастливцы и неудачники. 2. Любопытный характер. 3. То, да не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три месяца назад. 4. О чем думает теперь Австрия. 5. Кто стучится в дверь? Кто войдет? Неизбежная судьба. Ложь ложью спасается. Слизняки, принимаемые за людей».

«Я пишу мой дневник, т. е. записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях», заметил Достоевский. Следовательно, «Дневник» показывает отношение автора к целому ряду вопросов. Позиция Достоевского была независимой. «Дневник писателя», — говорил он, — не сойдет со своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить или хитрить».

Особенность формы и содержания «Дневника», к сожалению, до настоящего времени не привлекли должного внимания исследователей.

В данной статье, по вполне понятным причинам, невозможно полностью проанализировать «Дневник писателя», и мы ставим своей задачей дать, хотя бы в общих чертах, представление об этом монументальном труде.

Несмотря на разнообразие материала, помещаемого Достоевским в «Дневнике», композиция каждого номера была строго продумана. В выпусках нет хаотического нагромождения фактов. Можно сказать, что общая информация мало интересовала Достоевского. Каждое событие было тщательно выбрано автором и, в большинстве случаев, служило основой для развития его взглядов. Пишет ли Достоевский о «Фоме Данилове», замученном русском герое, («Дневник писателя», том 11, стр. 12), или

о «Деле родителей Джунковских с родными детьми», (Достоевский, «Дневник писателя», том 11, стр. 210), он располагает материал с таким расчетом, что вывод из частного случая является решением общей проблемы. Так в статье о «Фоме Данилове», занимающей всего лишь 6 страниц, Достоевский, рассказывая о мученической смерти унтер-офицера Данилова, убитого кипчаками, переходит к характеристике русского народа: «Нет, послушайте, господа, — пишет он, — знаете ли как мне представляется этот темный безвестный солдат? Да ведь это так сказать — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства» («Дневник писателя», том 11, стр. 14). И далее идет развернутая характеристика русского народа.

По форме «Дневник» является замечательным литературным произведением. Глубокая продуманность, умелое расположение материала, четкость и ясность изложения и идейная насыщенность, ставят «Дневник» на одном уровне с другими произведениями писателя.

Каждый номер «Дневника» состоял из 2 - 3 глав, содержащих 35—37 страниц.

Глава, обычно, разделялась на 8 - 9 самостоятельных статей. Заглавия статей, в зависимости от тем, иногда состояли из распространенных предложений, как например, «Высшие интересы цивилизации, и да будь они прокляты, если их надо покупать такой ценой»; иногда отличались краткостью: «Злоба дня»; «Злоба дня в Европе»; «Русское решение вопроса».

Достоевский создал своеобразный журнал, состоящий из коротких (5 - 6 страниц) статей. Для оживления изложения писатель часто использует диалогическую форму, приводит воспоминания, печатает статьи в виде писем или ораторских выступлений.

«Дневник» написан простым, ярким, энергичным и выразительным языком. Полемическая заостренность статей усиливается употреблением простонародных слов («заплатки», «плюха», «отбрить», «дурачок», откалывать головы и т. д.).

По содержанию «Дневник» превосходит романы Достоевского. Ни в одном из них писатель не ставил на разрешение такую массу проблем, как в 3-х томах «Дневника».

При работе над брошюрой, как основным материалом, мы пользовались «Дневником писателя», изданным в 1895

г. в С.-Петербурге, изд. А. Ф. Маркса (т. т. IX, X, XI). Кроме того, нами были использованы фельетоны Достоевского за 1847 год, заметки из «Записной книжки» и статьи из журнала «Время» за 1861 год: «Введение», «Г.—бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», статья 1 и 2 «Последние литературные явления», «Газета», «День».

Выбор афоризмов и высказываний из текста произведен на основании изучения всего творчества Достоевского. Под всеми цитатами имеются указания тома и страницы.

Знакомясь с содержанием брошюры, необходимо учитывать, что Достоевский приступил к изданию «Дневника» 88 лет тому назад, когда многие факты, которые являются для нас как бы само собой разумеющимися, только еще намечались. Но это не уменьшает, а, наоборот, придает большую ценность гениальным прогнозам, метким характеристикам и высказываниям писателя.

Д. Гришин.

АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

То, что может казаться теперь прочным, то, может быть, всего только еще фантазия. (11, 189).

Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допущено злодейство. (11, 53).

Что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть останется правдой и для всей нации. (11, 54).

Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. (11, 462).

Какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье. (11, 462).

Прежде чем проповедывать людям: «как им быть» — покажите это на себе. Исполните на себе сами и все за вами пойдут. (11, 72).

Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем тайна первого шага. (11, 72).

Все прежние расчеты спутались и теперь уже события командуют расчетами, а не расчеты властвуют над событиями. (11, 201).

«Спасение животишек» есть самая бессильная и последняя из всех идей единящих человечество. (11, 494).

Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении. (10, 40).

Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое отечество, или даже просто отстаивая интересы своего отечества. (10, 154).

Дай Бог ни за что не терять единства, ни за какие даже блага, посулы и сокровища: лучше вместе, чем врознь. (10, 174).

Мне всегда, например, казалось, что величайшее счастье — это знать, по крайней мере, отчего несчастлив. (10, 284).

Всякая высшая и единящая мысль, и всякое верное

единящее всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. (10, 297).

Лучше уж ошибка в милосердии, чем в казни. (10, 340).

Молодежь наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. (10, 428).

Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит указаний на высший смысл жизни. (10, 428).

Идеи летают в воздухе, но неприменно по законам, идеи живут и распространяются по законам слишком трудно для нас уловимым; идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием. (10, 428).

Лучшие люди, — эта тема стоит того, чтоб сказать о ней несколько слов. Это те люди, без которых не живет и не стоит никакое общество и никакая нация. (10, 359).

Стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть и говорит, не боясь, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются и что он не произведет никакого впечатления на ум своих современников. (11, 4).

Мудрость, без сомнения, должна хранить и ограждать нации и служить человеколюбию и человечеству, но иные идеи имеют свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. (11, 8—9)).

Пролитая кровь «за великое дело любви» много значит, многое очистить и омыть может, многое может вновь оживить и многое доселе приниженное и опакощенное в душах наших, вновь вознести. (11, 9).

Вера в то, что хочешь, и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь, наконец, его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная верой нация и имеет право на высшую жизнь. (11, 21).

Для хорошего дела всегда есть время. (11, 39).

Есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так

равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — все это чаще всего самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды. (11, 58).

Не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин», и пр. Всякий, кто искренне захотел истины, тот уже страшно силен. (11, 70).

Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. (11, 70).

Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собой столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. (11, 70).

Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам — любовь, если заслужите ее. (11, 70).

Позорное и порочное несет само в себе смерть, и рано ли, поздно ли, само собой казнит себя. (11, 115).

Сладострастие родит жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой даже и порочной души. (11, 118).

Эгоизм умерщвляет великодушие. (11, 119).

Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. (11, 140).

Современный дипломат есть «великий зверь на малые дела». (11, 173).

Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. (11, 211).

Эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное трусливое отвращение связать себя каким-нибудь долгом. (11, 227).

Да, лень всегда порождает зверство, заканчивается зверством. И зверство это не от жестокости, а именно от лени. (11, 227).

Отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером. (11, 233).

Я вам скажу, что такое розга. Розга в семействе есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой лени. Все, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно бы было достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, — всего этого слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой. (11, 233).

Любовь есть труд, даже и любви надобно учиться, верите ли вы этому? (11, 235).

Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих. (11, 235).

Если я верю, что истина тут, вот именно в том, во что я верую, то какое мне дело, если б даже весь мир не поверил моей истине, насмеялся надо мною и пошел иной дорогой? Да, тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. (11, 491).

Не начало только всему есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности и только оно одно. (11, 493).

Всякое великое счастье носит в себе и некоторое страдание, ибо возбуждает в нас высшее сознание. Горе реже возбуждает в нас в такой степени ясность сознания, как великое счастье. (11, 416).

Нет выше счастья, как увериться в милосердии людей и в любви их друг к другу. Ведь это вера, целая вера, на всю жизнь! А какое же счастье выше веры? (11, 415).

Не лучше ли исправить, найти и восстановить человека, чем прямо снять с него голову. Резать головы легко по букве закона, но разобрать по правде, по-человечески, по-отечески, всегда трудно. (11, 412).

Слишком виновную душу, и особенно если она сама уже слишком чувствует свою виновность и много уже вынесла из-за того муки, не надо слишком явно и поспешно укорять в ее виновности, ибо можно достигнуть обратного впечатления, и особенно в том случае, если раскаяние и без того уже в душе ее. (11, 409).

Часто в одном месте бездарность воскресает в другом — чуть не гением. (11, 545).

Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы. (11, 449).

Нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. (9, 10).

Начало-то и есть главное; всякое дело зависит от первого шага. (9, 17).

Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее имен но зависят от национальных особенностей, т. е. от почвы и народного характера. (9, 17).

Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться

и отрекаются от них перед светом, несмотря на то, что потихоньку их разделяют. (9, 19).

Сила ума есть единственное неоспоримое и неизбежное преимущество одного человека перед другим. (9, 19).

Люди в наш век бывают иногда уж слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными... Честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если бы они были и из прописей, особенно если он в них верует.

Мы говорим: особенно, потому, что ведь и есть такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют, и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? (9, 20).

Всегда, во всяком обществе, есть золотая посредственность, претендующая на первенство. (9, 31).

Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже разившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и обратно, непрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. (9, 34—35).

Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа. (9, 37).

Все зависит от обстоятельств и все на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. (9, 37).

Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. (9, 39).

Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же никто и ничего не возьмет, разве силой. Но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. (9, 39).

Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. (9, 39).

Сознание, хотя бы лишь, самое отдаленное, что тебя стоит высечь, — есть уже начало добродетели, а где у нас добродетель? (9, 453).

Лганье перед самим собой у нас еще глубже укоренилось, чем перед другими. (9, 453).

Золотая середина — это нечто трусливое, безличное, а в то же время чванное и даже задорное. (9, 454).

Мы на небо не смотрим — некогда. Мы спешим, спешим; небо не уйдет. Небо дело домашнее, небо дело нехитрое; а вот жизнь прожить, так не поле перейти. (9, 472).

Нет такой идеи, такого факта, которого бы нельзя было опошлить и представить в смешном виде. (9, 70).

Сильное любит силу; кто верует, тот силен. (9, 77).

Больной не может быть в одно и то же время и больным, и врачом. (9, 83).

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. (9, 106-107).

Любить просто мало; надо уметь выказать любовь. (9, 116).

В способности и умении сделать первый шаг и заключается, по-моему, настоящая практичность и деловитость всякого полезного деятеля. (9, 138).

Всякая вновь появившаяся в обществе деятельность достигает, наконец, идеала в своих деятелях. (9, 146).

Когда дела нет, настоящего серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собой разные дразги за принципы и убеждения. (9, 152).

Реалисты не боятся результатов своего анализа. (9, 157).

Прежде слова «я ничего не понимаю», означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и гордостью: «я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве» и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете. (9, 167).

В сущности у нас каждый подозревает другого в глупости без всякой задумчивости и без всякого обратного вопроса на себя: «да уж не я ли это глуп в самом деле?» (9, 167).

Задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. (9, 167).

Идеи носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее. (9, 181).

Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. (9, 182).

Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. (9, 198).

Любить общечеловека, значит наверно уже презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. (9, 203).

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень многое знать бессознательно. (9, 209).

Ощущение ужаса есть чувство жестокое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. (9, 210).

Обыкновенно, до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза, как очарованные. (9, 211).

Свести с ума у нас сведут, а умнее то еще никого не сделали. Всех умнее, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц себя дураком назовет, — способность ныне неслыханная. Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну, а теперь, ни-ни. И до того замешали дело, что дурака от умного не отличишь (9, 215).

Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего не уважать. Да глупый человек и не может уважать. (9, 217).

Зачем «хорошего понемногу»? Чем больше его, тем лучше, — вот моя мысль. (9, 269).

Слишком сильные духом и характером женщины, особенно если страстны, иначе и не могут любить, как деспотически. (9, 275).

Учитель-это штука тонкая: народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. (9, 286).

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь, и никакими деньгами, потому, что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются. (9, 286).

Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой, образуется лишь долгою самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным

трудом ее, одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. (9, 286).

Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто, совсем не знал ее до сих пор. (9, 320).

Истина лежит перед людьми по сто лет на столе и они ее не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее то и считают фантастичным и утопичным. (9, 323).

Ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид. (9, 332).

Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. (9, 339).

В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость — вот в чем наша современная беда (9, 339).

Нравственный, и всякий другой, закон даже обязывает постороннего помешать явному гнуснейшему злодейству, если оно происходит в его глазах и если он в силах оказать помощь. (9, 359).

Миру в высшей степени необходимо иметь перед собой как можно более людей, которых можно уважать. (9, 374).

Если нет против чего протестовать, то зачем оставаться и протесту? (9, 437).

Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тождо есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнью, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта. (9, 79).

Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Ныне же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. (10, 3).

Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели — мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. (10, 11).

Дети странный народ, они сняты и мерещатся. (10, 13).

Самое сильное средство перевоспитания, переделки

оскорбленной и опороченной души в ясную и честную
есть труд. (10, 22).

Раздор страшная сила и сам по себе; раздор после
долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до зат-
мения и извращения ума и чувств (10, 41).

Если ты направился к цели и станешь дорогой оста-
навливаться, чтобы швырять камнями во всякую лаю-
щую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
(10, 45).

Мы все хорошие люди, ну разумеется, кроме дурных.
Но вот что замечу к слову: у нас, может быть, дурных то
людей и совсем нет, а есть только дрянные. До дурных
мы не доросли. (10, 46).

Без великодушных идей человечество жить не может,
и я даже подозреваю, что человечество потому и любит
войну, чтоб участвовать в великодушной идее. (10, 154).

Спиритизм, — без сомнения, великое, чрезвычайное
и глупейшее заблуждение, блудное учение и тьма. (10,
163).

Сентиментальность так всем по плечу, сентимен-
тальность такая легкая вещь, сентиментальность не тре-
бует никакого труда, сентиментальность так выгодна,
сентиментальность с направлением даже ослу придает
теперь вид благовоспитанного человека. (10, 179).

Кто уж слишком жалеет обидчика, тот, пожалуй,
не жалеет обиженного. (10, 186).

У нас идеалист часто забывает, что идеализм есть
дело вовсе не стыдное. У идеалиста и реалиста, если
только они честны и великодушны, одна и та же сущ-
ность — любовь к человечеству и один и тот же объ-
ект — человек. Стыдиться своего идеализма нечего:
это тот же путь и к той же цели. Так что идеализм, в
сущности, точно так же реален, как и реализм, и ника-
гда не может исчезнуть из мира. (10, 257).

Нет такой старой темы, на которую нельзя бы было
сказать что-нибудь новое. (10, 269).

Мне кажется, должен существовать такой естествен-
ный закон в народах и национальностях, по которому
каждый мужчина должен по преимуществу искать и
любить женщин в своем народе и в своей националь-
ности. (10, 280-281).

Не бывает ли в известный момент, даже вот и при
этих то самых реальных причинах и их объяснениях,
такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появля-
ются вдруг какие-то странные силы, положим, и непо-

нятные, и загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захватывают все разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо, в роде как бы под гору, а, пожалуй, так и в бездну. (11, 177-8).

Не всегда надо проповедывать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть. (11, 118).

В политике начало дела есть все, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли приведет к концу. (11, 180).

Всякое переходное и разлагающееся состояние общества порождает ленность и апатию, потому что лишь очень немногие, в такие эпохи, могут ясно видеть перед собой и не сбиваться с дороги. Большинство же путается, теряет нитку, и наконец махнет рукой. (11, 220).

В жизни народов все важнейшее слагается всегда сообразно с их важнейшими и характернейшими национальными особенностями. (11, 267).

Либеры наши вместо того, чтобы стать свободнее, связали себя либерализмом, как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы потому одному, что совсем не желаю успокаиваться. (10, 53).

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь: величиим души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. (9, 341).

Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых чаще всего встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость, невежество (несмотря на интеллигентность классов) и где, почти повсеместно, настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу... тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании; в преемстве идей, в вековом, национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сани европейца под непрямым условием неуважения к самому себе, как к русскому человеку. (9, 339-340).

В наше время все начинают все сильнее и больше

чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а, во-вторых, как человек, стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого — к себе уважения (9, 19).

А кто знает, ведь может и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные. (9, 21).

Чем больше человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. (9, 81).

Существовало ли когда-нибудь политическое равновесие на свете в самом деле? Положительно нет. Это только хитрая формула, созданная в свое время хитрыми людьми, чтобы надувать прорстачков. (10, 308).

Есть такой политический, а пожалуй и естественный, закон природы, который состоит в том, что два сильные и ближайшие друг к другу соседа, как бы ни были дружны, всегда кончат желанием истребить один другого, и рано ли, поздно ли, приведут это желание в действие. (10, 106).

Можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу обращается ему же во вред. . . Итак, видно и война необходима для чего-нибудь, целесообразна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезной оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губили их. (11, 120-121).

Нет, устать, возненавидеть жизнь, возненавидеть, значит, и всех, о нет, нет, пройдет это жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся под свалившимися на них камнями, засветит, как солнце, новая великая мысль и укрепится шатающийся ум и скажут все: «Жизнь хороша, а мы были гадки». (10, 199).

Право, мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются,

уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать сначала. Разрывают прежние связи без сожаления и каждый действует сам по себе и — тем только и утешается. (10, 97).

Есть исторические события, увлекающие все за собою и от которых не избавишься ни волей, ни хитростью, точно также как не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. (11, 9-10).

В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтоб под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда, во всякий момент, быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. (11, 70).

Миллионы людей движутся и страдают и отходят бесследно, как бы предназначенные никогда не понять истину. Они живут чужою мыслью, ищут готового слова и примера, схватываются за подсказанное дело. Они кричат, что за них авторитеты, что за них Европа. Они свистят на несогласных с ними, на всех презирающих лакейство мысли и верящих в свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же, на самом-то деле эти массы кричащих людей предназначены послужить собою лишь косным средством для того, чтобы разве единицы лишь из них приблизились сколько-нибудь к истине, или, по крайней мере, получили бы о ней хоть предчувствие. Вот эти-то единицы и ведут потом всех за собою, овладевают движением, ролят идею и оставляют ее в наследство этим мечущимся массам людей. (11, 111).

Высшие типы ведь царят на земле, и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. (10, 423).

«Жалость. — драгоценность наша, и искоренять ее из общества страшно. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно». (10, 87).

«Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственно цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы» (XI, стр. 495).

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» ДОСТОЕВСКОГО

«Только то и крепко, подо что кровь протечет. Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле. (355).

Общественное мнение у нас дрянное, кто в лес, кто по дрова, но его **кое-где бояться**, стало быть оно своего рода сила, а стало быть и годиться может. Уничтожить общественное мнение, так не то что ничего больше не будет, а/и то, что есть, исчезнет. (355—6).

Вся наша либеральная партия прошла **мимо дела**, не участвуя в нем и не дотрагиваясь до него. Она только отрицала и хихикала. (356).

Говорят: наше общество не консервативно. Правда, самый исторический ход вещей (с Петра) сделал его не консервативным. А главное: оно не видит, что сохранять. Все у него отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека — отрицательные. Дайте ему что положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. **Не консервативен он потому, что нечего охранять.** Чем хуже — тем лучше, — это ведь не одна только фраза у нас, а, к несчастью, самое дело. (357).

Возвышенность души измеряется отчасти и тем, насколько и перед чем она способна оказать уважения и благоговения. (358).

Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется. (359).

Я, как Пушкин, слуга Царю, потому что дети его народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит. (366).

Есть некоторые жизненные вещи, живые вещи, которые весьма, однако, трудно понять от чрезмерной учености. Ученость, такая прекрасная вещь даже и в случае чрезмерности обращается от прикосновения к иным **живым** вещам в вещь даже вредную. Не все живые вещи легко понимаются. Это аксиома. А чрезмер-

ная ученость вносит иногда с собою нечто мертвящее. Ученость есть материал, с которым, иные, конечно, очень трудно справляются. Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но, в конце концов, всегда сходится с жизнью и даже указывает и дает в ней **новые откровения**. Вот существенный и величавый признак истинной учености. Неистинная же ученость, хотя бы и чрезмерная, в конце концов, всегда враждебна жизни и отрицает ее. (370)

Жаль, что вы мало думаете, господа, а живете готовыми мыслями. А у нас не только готовыми мыслями, но и готовыми страданиями живут. (370).

Нигилизм явился у нас потому, что мы **все нигилисты**. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи). Комический был переполох и заботы мудрецов наших отыскать: откуда взялись нигилисты? Да они ни откуда и не взялись, а все были с нами, в нас и при нас. (370).

«Двуличие изнанка, маска — скверное дело, согласен, но если б в настоящий момент все бы явились как они есть на лицо, то ей Богу было бы хуже» (там же, стр. 17).

«Слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в Берлиозовом бале у Капулетов. Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце» (там же 20).

Чудно, как это создана человеческая натура! Вдруг, и **ведь** **вовсе** **не** **из** **подлости**, человек делается не человеком, а мошкой, самой простой маленькой мошкой. (там же, стр. 16).

Мы всегда разомнем, истерзаем цветок, чтоб сильнее почувствовать его запах, и ропщем потом, когда вместо аромата достается нам один чад. (там же, стр. 28).

Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое я в действительной жизни), то сейчас же и **впадет** он в какое-нибудь невероятное событие, то, с позволения сказать, сопьется, то наконец, с ума сойдет от амбиции. (там же, стр. 29).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Творчество, основание всякого искусства, живет в человеке, как проявление части его организма, но живет нераздельно с человеком. А следовательно творчество и не может иметь других стремлений, кроме тех, к которым стремится весь человек. (9, 84).

Начиная с начала мира до настоящего времени, искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, - рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью. (9, 84).

В жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы; будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, всегдашнюю верность человеку и его интересам. (9, 85).

Искусство только тогда будет верно человеку, когда не будет стеснять его свободу развития. И потому первое: дело не стеснять искусства разными целями, не предписывать ему законов, не сбивать его с толку, потому, что у него и без того много подводных камней, много соблазнов и уклонений, неразлучных с исторической жизнью человека. (9, 85).

Красота полезна, потому что она красота, потому что в человечестве — всегдашняя потребность красоты и высшего идеала. (9, 85).

Искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы. (9, 53).

Первый закон в искусстве — свобода вдохновения и творчества. Все же вытребованное, все вымученное покою веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред. (9, 53).

Художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно также понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. След-

ственно, по-просту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. (9, 57-58).

Писатель без таланта — тот же хромой солдат. (9, 74).

Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете. (9, 75).

Величайшая тайна художественного творчества, что образ красоты созданный им, становится тотчас кумиром, без всяких условий. (9, 75).

Потребность красоты развивается наиболее тогда когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, т. е. когда **наиболее** живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается. Тогда в нем проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и покойствие. (9, 75).

Красота присуща всему здоровому, т. е. наиболее живущему. 9, 75-76

В муках жизни и творчества бывают минуты не то чтобы отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва, колебания, недоверия и, вместе с тем, умиления перед прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества. (9, 78).

Конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отразилось в созданиях нашей литературы, отражается и до сих пор. Но разве мы рабски воспринимали их, разве не переживали их жизненным процессом, разве не вырабатывали своего русского взгляда на эти иноземные явления, разве не убедились, не прочувствовали самую жизнь, что общечеловечность есть, может быть, самое важнейшее и святейшее свойство нашей народности? (9, 158).

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща, и как вы думаете, чего именно тут боюсь, а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. (9, 259).

Всякое художественное произведение, без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное»... окажется гораздо полезнее... чем.

например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей). (9, 259).

В угоду общественному давлению, молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят за «пустое любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему мундирному либерализму и социальному мнению. (9, 259).

Сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. (9, 262).

Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли, и может быть, побольше образования. (9, 262).

«Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда, как таковой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть надо дать побольше идее и не бояться идеального. (9, 263).

Темы почти фантастические также действительны и также необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность. (9, 263).

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую переживал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а в уже законченном виде. (9, 263).

Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а не высказанное — золотое, давным давно уже не в привычках наших художников. Мало меры. Чувство меры уж совсем исчезает. (9, 279).

Мало еще выставить верно все данные свойства лица; надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его реальною правдой: правды впечатления не выйдет. (9, 293).

Не в предмете дело, а в глазе: есть глаз-и предмет найдется, нет у вас глаза, слепы вы, — и ни в каком предмете ничего не отыщете. (10, 343).

В иных случаях простота вредит самим упрости-телям. Простота не меняется, простота «прямолинейна» — и, сверх того — высокомерна. Простота — враг анализа. (10,346).

Всегда говорят, что действительность скучна, од-нообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусст-ву, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив: что может быть фантастичнее и неожиданнее действи-тельности?.. Никогда романисту не представить та-ких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иногда даже вовсе и не выду-мать никакой фантазии (10, 112).

Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из все-го мира, наиболее и наироднее, бывает понят и принят всегда в России. (10,204).

Для иного наблюдателя все явление жизни прохо-дят в самой трогательной простоте, и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не сто-ит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вы-тянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он при-бегает к другого рода упрощению и, просто запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измучен-ный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. (10, 347).

Язык есть бесспорно форма, тело, оболочка мыс-ли, так сказать, последнее и заключительное слово ор-ганического развития. (10,269).

За литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих, и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед народной правдой, признала идеа-лы народные за действительно прекрасные. (10,52).

Что такое талант? Талант есть, во-первых, препо-лезная вещь. Литературный талант, например, есть спо-собность сказать или выразить хорошо там, где без-дарность скажет или выразит дурно. (10,65).

Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны, и иногда просто несносны. Во-первых, талант обязывает. — к чему, например? Иногда к самым дурным вещам. Представляется неразрешимый вопрос: талант ли обладает человеком, или человек своим та-

лантом? Мне кажется, сколько я ни следил и не наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать со своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант поработщает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унижительном нередком виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. (10, 65).

Все почти таланты, хоть капельку да поэты, даже столяры, если они талантливо. (10, 66).

Поэзия есть, так сказать, внутренний огонь всякого таланта. (10, 66).

Истинные происшествия, описанные со всей исключительностью их случайности, — почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный! Задача искусства — не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многообразия однородных жизненных явлений. (9, 271-72).

Ни одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность почти всегда так, как хотим ее видеть, как сами, предвзято, желаем растолковать ее себе. Если же вдруг разберем и в видимом увидим не то, что хотели видеть, а то, что есть в самом деле, то прямо принимаем, то, что увидели, за чудо. О, это весьма не редко, а подчас, клянусь, поверим скорее чуду и невозможности, чем истине, которую не желаем видеть. И так всегда бывает на свете, в том и вся история человечества. (11, 65).

Есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, т. е. каким говорит тот народ, к которому принадлежите вы. (11, 169).

Без знания натурального своего языка, без обладания им, нельзя даже выровнять себе характера. (11, 171).

Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. (11, 421).

Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь. (11, 245).

Пушкин первый объявил, что русский человек не раб; и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов. (11, 423).

В Пушкине две главные мысли — и обе заключают

в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а, стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — **всемирность** России, ее отзывчивость и действительное бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира... Другая мысль Пушкина, — это поворот его к народу и упование, единственно, на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обречем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. (11 245- 246).

Величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, **нашел великий и вожделенный исход для нас русских и указал на него.** Этот исход был — **народность, преклонение перед правдой народа русского.** «Пушкин был явление великое, чрезвычайное». Пушкин был «не только русский человек, но и первым русским человеком». Не понимать русскому Пушкина, значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто. (11, 422).

Пушкин по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. (11,427).

Мы называем Пушкина величайшим национальным поэтом (а в будущем и народным, в буквальном смысле слова), потому именно называем, что он есть полнейшее выражение направления, инстинктов, и потребностей русского духа в данный исторический момент. Ведь это, отчасти, современный тип всего русского человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом стремлении его. (9, 82).

Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее художествен, чем все наши поэты, следовательно, наиболее прост, наиболее пленителен, наиболее понятней. (9, 86).

У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь, если не чудом, то необычайной величию гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. (10, 52).

Пушкина мы еще и не начали узнавать; это гений,

опередивший русское сознание еще слишком надолго. Это был уже русский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в русского. Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу. (11, 41).

Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. (11, 468)

Пушкин любил народ не за одни только страдания. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. (11, 424).

Пушкин первый, своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого, в конце концов, отрицающего, делать с другими не желающего, и искренне страдающего. (11, 445-6).

Пушкин первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы: Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи; типы исторические, как например, Инок и другие в «Борисе Годунове»; типы бытовые, как в «Капитанской дочке».... Главное же, что надо особенно подчеркнуть, это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа. (11, 446).

Принято говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам: Парни, Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сом-

нения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражением, так что в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах». (11, 456).

В типе Алеко, герое поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо-реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. (11, 456).

В «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной... воплощена настоящая русская жизнь с такою творческой силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй. (11, 459).

Онегин в глуши, в сердце своей родины, он конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя, как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скидывается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слышал и

об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, немногих, — смотрит с грустной насмешкой, Ленского он убил просто от хандры — почему знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. (11, 459).

Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы... Татьяна положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. (11, 459—60).

В «Онегине», в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и беспорной красоты в лице русской женщины. (11, 464).

В Пушкине есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. (11, 465).

Не было бы Пушкина, не определились бы может с такою непоколебимой силой... наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные, силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. (11, 466).

Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть и надежда, великая надежда за русского человека.

«В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни» —
сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его

можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим как Пушкин. (11, 465).

Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившем в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено в глубине души его. (11, 466).

Песни западных славян это — шедевр из шедевров Пушкина... не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов, еще 50 лет тому назад появившихся. Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: это предчувствие славян русскими, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении. (11, 41).

Пушкин — человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления (Пир во время чумы), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может **перевоплотиться** в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многообразие национальностей и снять все противоречия их. (11, 246).

В европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин.

И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт...

Не было поэта с такой всемирною отзывчивостью как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось (11, 466-468).

Значение (Пушкина, Д. Г.) в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно

идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже созрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла уяснить нам цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый. (9, 42).

Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что же принесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех языках, праздно ездили по Европе, скущали в России и в то же время сознавали, что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у себя, а мы нигде. (9, 95-6).

Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю застенную глубину этого духу и всю тоску его призвания. Как мог это проявлять Пушкин. (11, 466-7).

Онегин — тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый привок. (9, 94).

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед ним и русская де-

вушка, — тип единственный до сих пор во всей нашей поэзии, перед которым с такой любовью преклонилась душа Пушкина, как перед родным русским созданием. Онегин не узнал ее, и, как следует, сначала поломался над ней, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского. Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу, что делать? За что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная ирония шевелится в душе его, и то же время он сознает, что он и не пустой человек: разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего же он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание дастанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, что уважать . . . Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих: не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем, он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. (9, 96 - 97).

Онегин — дитя эпохи, это вся эпоха, **в первый раз** сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты все это — наше, русское, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. (9, 97).

Этот тип (Онегин. — Д. Г.) вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально-русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самоневыжания. И все та же жажда истины и деятельности, и все то же вечное покоевое **нечего делать!** От злобы и как будто на смех, Печорин бросается в дикую странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти. (9, 97).

Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха. — с могуществом, не выражавшемся так сильно еще никогда, ни в ком. нигде. ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам в бессилии создать и в точности определить

себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. (9, 97).

Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный, — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если бы он перестал возиться с больной личностью русского интеллигентного человека, ... то наверное бы кончил тем, что отыскивал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой. (11, 425 — 426).

В Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того оба не объяснимы один без другого, и до того взятые вместе объясняют друг друга, что заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете. (11, 430).

Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. (11, 428).

У Некрасова была своя, своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, зверское подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже частию уверовать и в будущее предназначение его. (XI 427—428).

За Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное. (11, 427).

Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков. (11, 27)

Автор **Анны Карениной**, несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. (11, 214).

Роман Л. Н. Толстого **Анна Каренина** вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше

того, произведение, которое бы могло стать рядом? (11, 245).

Анна Каренина — вещь, конечно, не новая по идее своей, но неслыханная у нас доселе. (11, 246).

Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение. (11, 247).

В **Анне Карениной** проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взятые люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступления и гибнут неотразимо. (11, 247).

Если у нас есть литературное произведение такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть **впоследствии** и **своей** науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем **своем собственном** слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. (11, 249—250).

Наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большей частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое... Только гениальный писатель, или уже очень сильный талант угадывает тип **современно** и подает его **своевременно**; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски, и работая по заготовленным уже шаблонам. (9, 279).

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама то верит, во имя чего обличает, — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что она сама считает хорошим. (11, 27).

Да, несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. (9, 37).

Утилитаристы требуют от искусства прямой немедленной, непосредственной пользы... Если рассматривать это соображение о пользе не как требование, а

только как желание, то оно, по нашему мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение не совсем верно. . . Если, например, какое-нибудь общество, полжм, на краю гибели; все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу?

«Служение муз, дескать, не терпит суеты».

Это, положим, так. Но хорошо бы было, еслиб, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных; потому что, хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту, и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. (9, 53).

Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого искусства. С одной стороны, это имеет некоторое основание: большею частью произведения обличительной литературы до того худы, что более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы со своей стороны признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то единственно только в этом смысле. Но в том то и беда, что нападки на них идут не с одной этой стороны и не в этом смысле: гонится весь обличительный род искусства, как будто между обличительными писателями и не может появиться истинного художника, гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и будет состоять в обличении. Следовательно, из вражды к противникам, сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять. (9, 55—56).

Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. (9, 57).

Можно знать факт, видеть его самолично сто раз, и все-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же самый факт, но только по-своему, объяснит вам его своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим-то влиянием и познается настоящий талант. (9, 69).

Художественность есть самый лучший, самый убедительный; самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопчете. (9, 73—74).

Мы верим, что у искусства собственная, цельная, органическая жизнь и, следовательно, основные и неизменные законы для этой жизни. Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. (9, 75).

От **Илиады** проходит трепет по душе человека. Ведь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокого момента народной жизни и, заметим еще, жизни такого великого племени, что в наше время, — время стремлений, борьбы, колебаний и веры (потому что наше время есть время веры), одним словом, в наше время наибольшей жизни, эта вековая гармония, которая воплощена в **Илиаде**, может слишком решительно подействовать на душу. (9, 77).

Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать. (9, 80).

Если нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности и не служит полезным целям, то это только потому, что мы не знаем путей полезности искусства, и кроме того, от излишнего жара в наших желаниях немедленной, прямой и непосредственной пользы, т. е. в сущности от горячего сочувствия к общему благу. Такие желания, конечно, похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, как если бы дитя, увидя солнце, потребовало, чтобы ему сейчас его сняли с неба и дали. (9, 80).

Нам иногда потому кажется, что искусство уклоняется от действительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики, которые прерывают всякое сношение с действительностью, действительно умирают для настоящего, обращаются в каких-то древних греков или средневековых рыцарей и прокисают в антологии или в средневековых легендах. Такое превращение возможно, но поэт-художник, поступивший таким образом, есть сумасшедший вполне. Таких немного. (9, 80).

Наши поэты и художники действительно могут уклоняться с настоящего пути, или вследствие непонимания своих гражданских обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или от разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания действительности, от некоторых истори-

ческих причин, от не совсем еще сформировавшегося общества. (9, 80-81).

В русском обществе позыв к общечеловечности, а следовательно и отклик его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества. (9, 81).

Всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. (9, 81).

Вследствие петровской реформы, вследствие нашего усиленного переживания вдруг многих разнообразных жизней, вследствие инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у нас так характерно, так особенно, как ни в каком народе. (9, 81-82).

Чем более симпатии возбуждает в массе поэт, тем, стало быть, он наиболее оправдывает свое явление. (9, 83).

Искусство всегда в высшей степени верно действительности, — уклонения его мимолетны, скоропреходящи; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть неверно современной действительности. Иначе оно не настоящее искусство. В том то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. (9, 83-84).

Искусства несовременного, не соответствующего современным потребностям и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство. (9, 84).

Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. (9, 85-86).

Г — бов, — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею. (9, 59).

Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и запрошлом поколении. Мы воспитывались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. (9, 103).

Литераторы-то есть, да жизни-то нет! Да, ее нет! Чутья действительности нет. Идеализм одуряет, увлекает и — мертвит. (9, 160).

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда и во всю жизнь. (9, 171—172).

Этот всеблаженный человек (Белинский, Д. Г.), обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил: но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. (9, 174).

Каждый журнал наш чего-либо да придерживается. Совершенно бесцветные журналы у нас не держатся и умирают тихою и спокойною смертью. (9, 48).

Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть — хуже чем ничего не видеть. (9, 154).

Западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вменяло это себе в большую честь. (9, 156).

Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. (9, 263).

Для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны: есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого. (9, 271).

Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлать купцов, мужиков и пр.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, — он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят и уж кажется бы верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. (9, 278).

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. (9, 310).

Художественность... есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимает ее. (9, 57).

В жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы; будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, всегдашнюю верность человеку и его интересам. (9, 85).

РЕЛИГИЯ

Раз отвергнув Христа, ум человеческий может
дойти до удивительных результатов. (9, 340).

Я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого — есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. (9, 236).

Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. (11, 211).

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. (9, 180).

Русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может. . . Вникните в Православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие; один Христов образ, — по крайней мере, это главное. (10, 328).

Поверьте, что нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского человека. (10, 325).

Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо. (10, 422).

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле **лишь одна** и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек **лишь из одной ее** вытекают. (10, 424).

Любовь к человечеству — даже совсем не мыслима, не понятна и **совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой**. Те же, которые отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни «любовью к человечеству», те, говорю я, поднимают руки на самих себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. (10, 425).

Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству **вообще** — есть, **как идея**, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (10, 426).

Самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. (10, 426).

Лишь из одной веры выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить. (10, 427).

«В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства, — в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и не переставаемая, может быть, никогда — это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего». (10, 440).

Высшая просвещенная часть народа, интеллигенция его, как у нас, так и на Востоке, мало по малу стала к идее православия равнодушнее, стала даже отрицать, что в этой идее заключается обновление и воскресение в новую великую жизнь, как для Востока, так и для России». (11, 77).

«Хотя народ наш и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его, сохранились и укрепились в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, несмотря даже на пороки». (11, 78).

«Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его». (11, 84).

«Грех есть мрак и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное». (11, 476).

«В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят». (11, 493).

«Кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего». (11, 522).

«Народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя не понимает эту идею ответчиво и научно». (11, 521).

«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского, он верит, что спасается лишь в конце концов всесветлым единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» (11, 522).

Совость без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. (Из записной книжки Достоевского, стр. 327).

Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет — да и не надо, потому что Православие все. Православие есть Церковь, а Церковь — увенчание здания и уже навеки... Кто не понимает Православия — тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того; тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть. Обратно и народ не примет такого человека, как своего; если ты не любишь того; что я люблю, не веруешь в то, во что я верую и не чтишь святых моих, то не чу и я тебя за своего. (там же, стр. 360).

Мерзавцы дразнили меня **необразованною** и ретроградной верой в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит **весь роман**. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразумием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое пережил я. Им ли меня учить! (там же, стр. 368—369).

РОССИЯ И РУССКИЕ

Мы, русские — народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание. (10, 88).

Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она **все** решительно, и останется в сути своей такой же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор. (11, 213).

Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все обратное. (9, 21).

В русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов, тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций. (9, 23).

Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, — чего нет в европейских народах, **в смысле всеобщей на-
родной способности.** (9, 23).

Дело в том, что и Россию-то еще не знает Европа:

она знала ее доселе только по тяжелой необходимости. (9, 103).

Если есть на свете страна, которая была бы для других отдаленных и сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. (9, 5).

Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется «перпетуум мобиле» или жизненный элексир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия... Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали сколько звезд на небе, что даже уверились, наконец, что могут их и хватать с неба... Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения, очнь красив, живет в деревянных избах, но не способен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и поэтому довольно стоек в сражениях. (9, 5—6).

Особенности русского характера.

Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и, — в частных случаях, но весьма нередких, — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благого-

веющем, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни — во всей ее полноте, перед которой лишь сейчас благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которой русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего: от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силой, с такою же стремительностью, с такою же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, — порыва отрицания и саморазрушения. (9, 205—6).

Европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. (9, 255).

Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. (9, 207).

Никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замортишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда, и что эта правда выше всего. (9, 239).

Не раз уже народу приходилось выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие. — вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. (9, 288).

Мы, русские, прежде всего боимся истины, т. е. и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем

то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным, и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома: что истина — поэтичнее всего, что есть на свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы наложить и напредставить себе покладливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали, наконец, то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на всем свете. (9, 322—23).

«Стоит ли начинать, коли никто не узнает!» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны намекает на такую способность уживчивости со всем, чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы — что перед этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо, раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете? (9, 329—330).

В русском человеке дерзости его ученого языка почти нет пределов. (9, 325).

Россия не боится, чтобы ее все более и более узнавали в Европе; напротив, желает того. Правда, Европа до сих пор никогда не верила в этом отношении России. Вся политическая жизнь России в продолжении, может быть, всего 19 столетия, в сущности, была лишь жертвою ее Европе чуть не всеми своими интересами. И что ж в результате? Поверила ли хоть раз Европа политическому бескорыстию России и не заподозревала ли ее, почти всегда, в самых коварных намерениях против Европейской цивилизации? Правда и то, что Россия до того уж бывала иногда бескорыстною, что и равнодушный наблюдатель мог бы не поверить, наконец, такой феноменальной ее любви к Европе. (9, 436).

Наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь разогнута свая, то весь пучок разлетится на множество чрезвычайно слабых былинки, которые разнесет первый ветер. (10, 101).

Нас замечательно не любит Европа и никогда не любила; никогда не считала она нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досадных пришельцев. (10, 151).

Великорусс теперь только что начинает жить, только что подымается, чтобы сказать свое слово и, может быть, уже всему миру; а потому и Москве, этому центру великорусса — еще долго, по-моему, жить, да и дай оы Бог. Москва еще третьим Римом не была, а, между тем, должно же исполниться пророчество, потому что «четвертого Рима не будет», а без Рима мир не обойдется. (10, 174).

Женщины у нас подымаются и, может быть, многое спасут... Женщины — наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую роковую минуту. (10, 196).

Россия сильна чрезвычайно только у себя дома, когда сама защищает свою землю от нашествия, но вчетверо того слабее при нападении. (10, 62).

Хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорусс, малорусс, белорусс — это все одно) — и так будет навсегда. (10, 325).

У нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом. (10, 49).

Двести лет живет Европа с Россией, насильно заставившей принять себя в европейский союз народов, в цивилизацию; но Европа всегда косилась на нее, предчувствуя недоброе, как на роковую загадку, Бог знает откуда явившуюся, и которую надо, однако же, разрешить во что бы то ни стало. (10, 302).

Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши 90 миллионов русских (или сколько их там народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было (10, 37).

Идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблемее и святее, чем когда-либо прежде. (10, 49).

Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они то и спасли его в века мучений; они срослись с душою его исконно и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, навождение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. (10, 51).

У нас — русских, две родины: наша Русь и Европа... Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. (10, 204).

На Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея — идея славянская, идея нарождающаяся, — может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы. (11, 8).

Неверие в духовную силу народа есть, конечно, неверие и во всю Россию. (11, 10).

Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно, и даже хотя бы и в большинстве своем может унижаться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастие временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и переходящих, от рабства, от векового гнета, от загубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар родившийся вместе с народом. (11, 15).

Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. (11, 148).

Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш народ только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за «зверство и невежество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы то для него ничего и не сделали. (11, 147).

Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красоты. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. (11; 16).

Если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то значит вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. (11, 23).

Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье чтоб успокоиться: дешевле он не примирится. (11, 456).

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил... славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России... означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западно-европейской цивилизации. (11, 240—241).

Мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, **гарантированное** уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов. (11, 26).

Там, где только есть возможность прямого досту-

па русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого. (11, 315).

Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевывание. (11, 314).

Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. (11, 469).

Нам от Европы никак нельзя отказываться. Европа нам второе отечество, — я первый страстно исповедую это и всегда исповедывал. Европа нам **почти** также **всем** дорога, как Россия; в ней есть Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. (11, 26).

Мы непобедимы ничем в мире, мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного с сознанием народным. (11, 113).

В русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение. (11, 317).

Главное и самое спасительное обновление русского общества выпадает бесспорно на долю русской женщины. (11, 316).

Может быть, русская женщина и спасет нас всех, все общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой **делать дело** и это до жертвы, до подвига. Она пристыдит бездеятельность других сил, и увлечет их за собою, а сбившихся с дороги воротит на истинный путь. (11, 438).

Случайность русского современного семейства, по моему, состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их между собой, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. (11, 218).

О, какая бы страшная, жидкительная и благословенная сила, новая, совсем уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом. (11, 523).

Прямо скажу: вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. (11, 524).

Европа нас готова хвалить, по головке гладить,

но своими нас не признает, презирует нас втайне и явно, считает низшими себе как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно, когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями. (11, 543).

Замысел «панславизма» колоссальностью своей, без сомнения, может пугать Европу, то уж по одному закону самосохранения. (11, 115).

Солнце показалось на Востоке, и для человечества с Востока начнется новый день. (11, 56).

Без единыщего огромного своего центра России — не быть славянскому согласию, да и не сохранить-ся без России славянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе. (11, 40).

Не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что сама национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. (11, 377).

Россия всегда будет сознавать, что центр славянского единства — это она, что если живут славяне свободно национальною жизнью; то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. (11, 377-8).

Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного мира и глава его есть Россия. (11, 383).

Рано ли, поздно ли, а **Константинополь должен быть наш**, и хотя бы лишь в будущем только столетии. (11, 85).

Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уже чуть не два века. (11, 539).

Какая необходимость в грядущем захвате Азии? Что нам в ней делать? Потому необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще более наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия то и есть наш главный исход. (11, 539).

Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу,

в его великие силы, которых еще никто из нас не знает во всем объеме и величии их, — как в святыню верую, главное, в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и зиждительный дух, и жажду лишь одного: да узрят их все. (11, 530).

В русском человеке видна самая полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения вредящего свободе действия. (9, 23).

Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы. (9, 25).

Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. (9, 25).

Мы (интеллигенция, Д. Г.) несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. (9, 41).

Доверенность народа надо заслужить: надо его любить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать? Доросли ли до этого? (9, 91).

Особенность русской народности — бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековая, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и правду. (9, 104).

Мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы то, может, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. (9, 104).

Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится. — это всеобщее, духовное примирение, начало которому лежит в образовании. (9, 17).

Нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. (9, 283).

В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва: да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. . . Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих. — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле: она серьезнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться. (9, 330).

Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливость. Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала оно до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и всеединение славян, но всеединение это — не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству. (10, 223).

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания иначе счастье его для него не полно. (9, 206-7).

Русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. (9, 18).

Будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе? Какую роль играть в ней? Готова ли она к этой роли? (10, 153).

Русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. (11, 461).

Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших, и чуть чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что кто так легко склонен терять уважения к другим, тот прежде всего не уважает себя. (11, 17-18).

У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимое, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметил и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания? Или еще рано? (11, 37).

Полвит самопожертвования кровью своею за все то, что мы почитаем святым, конечно, нравственное всего буржуазного катехизиса. (11, 115).

Уж лучше извлечь меч, чем страдать без спора. (11, 118).

Жестокость родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества. (11, 119).

Одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе, как на свой аршин. (9, 11).

У нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек. (9, 16—17).

Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя и, опять-таки, нужды нет, что она не велика. Зато она хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позывах всех людей русских. (9, 17).

Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина. (9, 103).

Мы вовсе не Европа и все у нас до того особливо, что мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим. (11, 509).

Все характерное, все наше национальное по имуществу (а, стало быть все истинно-художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. (9, 254).

Я на-днях мечтал, например, о положении России, как великой европейской державы, и уже чего чего не пришло мне в голову на эту грустную тему! (9, 283).

Мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало, каждый показаться непременно чем то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо. (9, 323).

Чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. (9, 81).

В русском обществе этот позыв к общечеловечности, а следовательно и отклик его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы, — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества... Этот

всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. (9, 81).

Честность, бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому сомнению. (10, 201).

Рутинa наша, и богатая, и бедная, любит ни о чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины «обособляются» в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно, и сами себя тешат. (10, 196).

Интеллигентный русский, даже и теперь еще, в огромном числе экземпляров — есть не что иное, как умственный пролетарий, нечто без земли под собою, без почвы и начала, международный межеумок, носимый всеми ветрами Европы. (10, 274).

Нет человека, готового повторять чаще русского: «какое мне дело, что про меня скажут» или «совсем я не забочусь об общем мнении» — и нет человека, который бы более русского (опять таки цивилизованного) более боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии. (10, 239).

На нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением... Не хотели европейцы нас почестъ за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае. *Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare*, и так доселе. (11, 25).

Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи брильянты. (10, 51).

Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает. (10, 51).

Всечеловеченость есть главнейшая личная черта и назначение русского. (10, 204).

Нам все не верят, все нас ненавидят, — почему? Да потому, что Европа инстинктом слышит и чувству-

ет в нас нечто новое и на нее несколько не похожее. (Из записной книжки Достоевского, стр. 395).

На России ведь миссия вселенская лежит умиротворить и цивилизовать в Азии. (там же, стр. 365).

Совершенное изменение доселешнего взгляда на себя как на европейцев, и признание, что мы и азиаты настолько же, насколько и европейцы, даже более, и что миссия наша в Азии даже важнее, чем в Европе — пока, пока, разумеется. (там же, стр. 365).

При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного) — хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой. (стр. 373).

Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования, а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, делается. (9, 91).

Народ понятлив и признателен, он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. (9, 39).

И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собой. (9, 24).

У нас сознали, что цивилизация только приносит новый элемент в народную нашу жизнь, несколько не повредив ей, несколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. (9, 16).

Грамотность прежде всего. грамотность и образование усиленные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. (9, 89).

В распространении грамотности заключается един-

ственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы, в отдельной с народом жизни. (9, 89).

К числу сокрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными. Идея это чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. (9, 181—182).

Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». . . Вот что, невысказано, ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии, преступника русский народ. (9, 182-83).

Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей, и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважение. И какие великие силы возродятся тогда? (9, 39).

Мы . . . уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как **широка** и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. (9, 90).

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра было много истины. Сознательно ли он угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел верно. А, между тем, форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу. (9, 104).

Идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. Кончилось тем, что мы при-

няли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы то, может, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. (9, 104).

В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе. (9, 105).

Есть ли понимание чужих национальностей особый дар русских перед европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках действительно сильнейший чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное. (9, 255).

В огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной духовной обстановке, — есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется любовь к семье, к детям. (9, 315).

ЕВРОПА

Европу ждут огромные перевероты, такие, что ум человеческий отказывается верить в них, считая осуществление их как бы чем то фантастическим. (11, 387).

Мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. (9, 340).

Никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно все подковано и начинено порохом и ждет только первой искры. (10, 111).

Всем движением демоса управляют во Франции (да и везде во всем мире) пока лишь мечтатели, а мечтателями — всевозможные спекулянты. (10, 105).

Мне кажется, что и нынешний век кончится в Старой Европе чем-нибудь колоссальным, т. е., может быть, чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось 18-ое столетие, но все же, настолько же колоссальным, — стихийным и страшным, и тоже, с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе Старой Европы. (11, 179).

Социализм французский есть ни что иное, как **насильственное** единение человека — идея еще от древнего Рима идущая. (11, 6).

Над всей Европой уже несомненно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое, но, несмотря на эти обозначившиеся факты, я уверен, очень многие найдут и теперь мои объяснения этих фактов опять-таки ложными и смешными. (11, 301).

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу слишком лет усилилась буржуазия и наконец задала повсеместную битву, разбила и согнала рыцарей и — стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: "*Otes-toi de la que je m'y mette*" —

(убирайся, а я на твое место). Но став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. (11, 66).

От будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и непрерывный контроль самой деспотической власти. (11, 67-8).

Надо принести с собою какую-нибудь новую мысль, сказать какое-нибудь такое новое слово, которое действительно имело бы силу вступить в бой с злым духом целого столетия несогласий, анархии и бесцельных французских революций. Заметьте, что ведь этот злой дух несет с собой страстную веру, а, стало быть, действует ни одним параличом отрицания, а соблазном самых положительных обещаний: он несет новую антихристианскую веру, стало быть, новые нравственные начала обществу; уверяет, что в силах выстроить весь мир заново, сделать всех равными и счастливыми и уж навеки докончить вековую Вавилонскую башню, положить последний замковый камень ее. Между поклонниками этой веры есть люди самой высшей интеллигенции; веруют в нее тоже все малые и сырые, трудящиеся и обремененные, уставшие ожидать царства Христова; все отверженные от благ земных, все неимущие, и во Франции они уже считаются — миллионами, и все это близко при дверях. (9, 377).

Новый дух придет, новое общество **несомненно** восторжествует — как **единственное** несущее новую, положительную идею, как единственный предназначенный всей Европе исход. В этом не может быть никакого сомнения. Мир спасется уже после посещения его злым духом... А злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его. (9, 381).

Уж и теперь социализм проел Европу... Князь Бисмарк про это знает, но слишком по-немецки надеется на кровь и железо. Но что тут сделаешь кровью и железом! (10, 107).

Грядет 4-ое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь!.. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, все это рухнет в один миг и бесследно. Все это близко при две-

рях. Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог веку, сами увидите Удивитесь тогда. (11, 495).

Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. (11, 248).

Европейцы стремятся отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами и поэтому все вместе вредят сами себе и своему делу... англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и обратно: француз в англичанине... Они перестают понимать друг друга; и тот, и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное себе препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Большею частью таковы и все европейцы. Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. (9, 22).

В Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно — новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо в один миг исчезнет и богатство. (11, 449).

В Европе не спокойно, и в этом нет сомнения. Но не временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготавлилось в мире с самого начала его цивилизации. (11, 4-5).

Париж уж так сам собою устроился исторически, что поглотил всю Францию; все значение ее политической и социальной жизни, весь смысл ее, — и отнимите Париж у Франции — что при ней останется: одно географическое определение ее. (Том 11, стр. 516-17).

Француз все знает, даже ничему не учившись (9, 8).

С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда. (9, 9).

Немцы — народ по преимуществу самодовольный и гордый собой. (9, 207).

Немцы немного слишком верят в успех крови и железа. (9, 408).

В России все немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то большое чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя непохожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя его мерить на

свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русским, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. (9, 7-8).

Не любим мы как-то немцев сердечно, хотя умственно готовы их уважать. (10, 71).

Немец победил вовсе не французов, а лишь французские тогдашние порядки, сначала наполеоновского режима, а потом республиканского хаоса. (11, 327).

Зависимость от союза с Россией есть, повидимому, роковое назначение Германии. (11, 190).

Мы нужны Германии даже более, чем думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза, а **навечно**. Идея воссоединения Германии широка, величава и смотрит вглубь веков. Что Германии делить с нами? Объект ее — все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала, вместо римских и романских начал, и впредь стать предводительницей его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего. (11, 391—392).

Самоупоение, гордость и совершенная вера в свое необъятное могущество чуть не опьянили всех немцев поголовно после франко-германской войны. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый, — этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал. (11, 187).

Что такое Австрия? Сама-то она чуть не на ладан дышит, развалиться хочет, она точно такой же больной человек как и Турция, да, может быть, и еще того плоше. Это образец всевозможных дуализмов, всевозможных внутри себя враждебных соединений, народностей, идей, всевозможных несогласий и противоречивых направлений. (XI, 179-80).

В Турции нет и не может быть сил правильного и здорового национального организма, мало того — что и организма-то, может быть, уже не осталось никакого, — до того он расшатан, заражен и сгнил; что турки азиатская орда, а не правильное государство. (11, 308).

Англичане, в огромном большинстве, народ в высшей степени религиозный, они жаждут веры и ищут ее беспрепятственно, но вместо религии, несмотря на государственную «англиканскую» веру, рассыпаны на сотни сект. (10, 117-8).

В Англии все англичане и все одинаково уважают себя, может быть, единственно за то, что они англичане. (10, 117).

Англичанин не стыдится ни своих убеждений, ни нашего об них заключения, в чрезвычайной искренности их встречается иногда даже нечто глубоко трогательное. (10, 119).

Взгляните на каждого почти англичанина, высшего или низшего типа, лорда или работника, ученого или необразованного, и вы убедитесь, что каждый англичанин прежде всего старается быть англичанином, сохраниться в виде англичанина во всех фазисах своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как в виде англичанина. (11, 20).

Всеобщая грусть в Европе... там порешили давно уже в умах своих и сознательно и бессознательно, что прежде всего надо покончить с Россией — ибо она мешает им, заставляет содержать войска, хранить Султана... Всему дескать виною Россия. Нам не укрыться от их скрежета и когда-нибудь они бросятся на нас и съедят нас. («Из записной книжки Достоевского», стр. 361).

ГЕНЕЗИС И ПРЕДЫСТОРИЯ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

По свидетельству Анны Григорьевны Достоевской мысль об издании «Дневника писателя» возникла у Достоевского во время заграничных скитаний периода 1867 — 1871 г.

Анна Григорьевна пишет, что после возвращения в Россию, «осуществить зародившуюся еще за границей идею — издавать «Дневник писателя» в виде ежемесячного журнала, было затруднительно. На издание журнала... требовались средства довольно значительные, а для нас составляло загадку — велик ли будет успех журнала, так как он представлял собою нечто небывалое доселе в русской литературе и по форме и по содержанию»¹).

Основываясь на имеющихся источниках, мы полагаем, что замечание А. Достоевской о времени появления замысла «Дневника» — неточно. Мысль об издании «Дневника» зародилась у Достоевского раньше. Еще в письме к А. Е. Врангелю от 8-го ноября 1865 года Достоевский заметил: «В голове у меня есть одно периодическое издание, не журнал. И полезное и выгодное. Может быть осуществлю в будущем году».²)

Через два года в письме к С. И. Ивановой от 29-го сентября 1867 г. Достоевский замечает: «Непременно хочу издавать, возвратясь, нечто вроде газеты. Я даже помнится Вам говорил это вскольз, но здесь теперь совершенно выяснилась и форма и цель. А для этого надо быть дома и видеть и слышать все своими глазами».³) Письмо было датировано 29-ым сентября 1867 года. Из Петербурга Достоевский выехал 14 апреля 1867 года. Следовательно, он мог говорить с Ивановой в Петербурге до отъезда.

Мысль об издании все время занимала Достоевского. 23 октября 1867 года в письме к Э. Ф. Достоевской он сообщает: «Мечтаю, воротясь в Петербург, начать издавать еженедельный журнал в своем роде, который я придумал. Надеюсь на успех».⁴)

В цитируемом письме слово «газета» отсутствует,

вместе него появляется журнал. Вероятно, Достоевский, обдумывая будущее издание, еще не решил будет ли «Дневник» выходить еженедельно или ежемесячно, но он подчеркивал, что издание должно быть периодическим и отличаться своеобразием.

В письме к С. Ивановой от 13 января 1868 года Достоевский замечает: «У меня в мыслях начать, по приезде в Россию, одно новое издание»⁵). Никаких пояснений о том, что это будет за издание не делается. Можно думать, что Достоевский считал вопрос для себя выясненным. За это предположение говорит и его письмо к Н. Страхову от 28 февраля 1869 года. Критически анализируя близкий ему по направлению журнал «Заря», Достоевский делает ряд замечаний, показывающих какие требования он предъявлял к периодическому изданию. Достоевский пишет, что успех основывается на новых идеях. Журнал должен высказать новую и современную мысль и бороться с рутинной, которая находит либерализм и новую мысль в том, что старо и отстало.

Как видно из дальнейшего изложения, под новой современной мыслью подразумевается национальная русская мысль. Достоевский советует помещать в журнале ежемесячные политические обозрения и фельетоны. Журнал не должен избегать полемики, потому что полемика есть чрезвычайно удобный способ разъяснения мысли, так «все статьи, например, Белинского имели форму полемическую»⁶).

Основываясь на проведенном анализе, можно полагать, что мысль об издании «Дневника» зародилась у Достоевского, не за границей, а в России, и, по всей вероятности, не позже 1865 года, но обдумывание деталей продолжалось за границей.

Приведенные данные о генезисе «Дневника» характеризуют только одну сторону дела, т. е. уточняют время появления замысла издания, но цель нашего исследования не ограничивается этим. Посмотрим под влиянием каких идейных воздействий сложился этот замысел.

Говоря об идейном генезисе «Дневника», необходимо принять во внимание влияние, оказанное на Достоевского, книгой Гоголя: «Выбранные места из переписки с друзьями». О влиянии Гоголя на Достоевского говорилось достаточно. Сам Достоевский в своих произведениях оставил неопровержимые свидетельства силы этого влияния. Несмотря на пародирование Гоголя в образе Фомы Опискина («Село Степанчиково и его обит-

татели») и чтение письма Белинского к Гоголю на собраниях петрашевцев, все же «Выбранные места из переписки с друзьями» оказали определенное воздействие на идейный генезис и композицию «Дневника».

Непосредственное обращение к читателю, разговор с ним, обсуждение волнующих общество вопросов, приподнятость речи, гибкость ее, переход от возвышенных тем к случаям обыденной жизни, проповедь, обращение, дидактические поучения, саркастические обличения, характерные для книги Гоголя, нравились Достоевскому. Нравилась ему и представляемая этой формой свобода. Его прельщала возможность прямо поговорить с читателем о себе, своих идеях и взглядах. Правда, Достоевский во многом не соглашался с Гоголем и резко критиковал последнего за попытку повернуть обратно колесо истории, но ему всегда был близок и созвучен патриотизм Гоголя. Мысль последнего о том, что для каждого русского нужно, отбросив все, «положить себе в неприменный закон служить земле своей»⁷⁾, нашла свое развитие в «Дневнике писателя». Стремление Достоевского разъяснить духовно-национальную независимость России было связано не только, как обычно полагается, со славянофильскими тенденциями Хомякова и Аксакова, но и с высказываниями Гоголя, отмечавшего «незнание (современниками Д. Г.) России посреди России» и требовавшего от каждого русского «всего себя умертвить для себя, но не для России»⁸⁾. По его мнению, человек, не выполнявший этих требований, должен был или иметь «бесчувственное сердце, или не знать что такое Россия для русского». Гоголь сформулировал столь любимую Достоевским идею о мировой миссии русских, «призванных в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но все направлять к добру».⁹⁾

Характеризуя особенности русского характера, Гоголь еще в «Петербургских Записках» заметил, что русский человек свободен и может даже отрешиться от самого себя, что не могут сделать представители других национальностей. «Немцу, о чем бы он ни говорил не отрешится от немца; французу, о чем бы он ни говорил, во всех его мнениях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно более всех нельзя отделиться от своей природы. Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому... К этому нужно присовокупить нашу способность схватывать живо малейшие оттенки других наций»¹⁰⁾.

При сопоставлении высказываний Достоевского и Гоголя поражает их сходство. В своей речи о Пушкине Достоевский отметил, что Пушкин обладал способностью перевоплощаться: «Пушкин — человек древнего мира, он и германец, он и англичанин... он и поэт Востока» 11).

Характеризуя творчество Пушкина, Гоголь за 35 лет до речи Достоевского, писал: «Как верен его (Пушкина Д. Г.) отклик, как чутко его ухо!

Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова, заглядывает к мужику в избу — он русский с головы до ног все черты нашей природы в нем отозвались... в первый раз выступили истинно русские характеры». 12)

В романе «Подросток» устами Версилова, Достоевский, как бы развивает мысли Гоголя: «Всякий француз, — говорит Версильов, — может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом, ровно англичанин и немец. Один лишь русский... получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Я во Франции — француз, с немцем немец, с древним греком грек и, тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России» 13).

Совпадают с мыслями Гоголя рассуждения Достоевского о способности только великого таланта видеть то, что многие не замечают, об отношении русских к преступникам, о славянофилах и западниках. Последни особенно интересно Гоголь заметил, что славянофилы и западники: «Говорят о двух разных столпах. Последнее особенно интересно. Гоголь заметил, что ронах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его, другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит». 14)

В «Пушкинской речи» развивается эта же мысль. Современная Достоевскому критика уловила связь между «Пушкинской речью» и «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя.

В октябрьском номере «Вестника Европы» за 1880 г., анонимный критик, сообщая о громадном успехе «Пушкинской речи», которую признали «событием» и «ге-

ниальной», заметил: «Можно, пожалуй, согласиться, что это событие, но событие довольно печальное». Он упрекает Достоевского за «неумеренное самолюбие, мистицизм» и утверждает, что сходство между «Речью Достоевского» и «Перепиской Гоголя» поразительное: «Достоевский рассуждает наитиями, провидениями, откровениями. Стилъ «Речи» повторяет «Выбранные места» Гоголя. Рядом с возвышенной, или высокопарной проповедью идет вульгарная сплетня, христианская любовь и братство с крайним озлоблением, тон высокопарный и порицательный» 15).

Трудно согласиться со всеми высказанными замечаниями, которые скорее являются обвинениями, чем объективной критикой, но связь «Речи» с «Перепиской» подмечена верно.

Говоря о влиянии Гоголя на идейный генезис «Дневника», необходимо заметить, что здесь не может быть и речи о полном сходстве взглядов Достоевского и Гоголя. Гоголь хотел улучшить положение народа, сохраняя неизменным существовавший порядок. Достоевский мечал о своеобразной конституции «снизу». Гоголь возлагал надежды на высшие сословия. Достоевский на народ и интеллигенцию.

«Дневник» несравненно глубже и содержательнее «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. В нем отразилось негодование Достоевского на положение, при котором русский народ, «обладающий многими прекрасными качествами, был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего . . . такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы» 16).

Оказали определенное влияние на идейный генезис «Дневника» статьи Белинского. Пусть впоследствии Достоевский критиковал Белинского, но преодолеть его влияние он не мог. Даже в «Дневнике» отрицательные высказывания о Белинском чередуются с положительными. У критика была одна сторона, которая оставалась всегда близкой Достоевскому — это патриотизм. Распространенное мнение о том, что Белинский, борясь против славянофилов, пренебрежительно относился к России нельзя считать правильным. Критикуя славянофилов за идеализацию прошлого страны, Белинский в то же время заявлял: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы русские, призваны сказать миру свое слово, свою мысль» 17). «У России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства» 18). По мнению Белинского, Рос-

сия давно прошла период заимствования от других стран и теперь «настало для России время развиваться самобытно, из самой себя» 19).

Многие взгляды Белинского отразились в «Дневнике писателя». Белинский, как и Гоголь, полагал, что русские могут понимать представителей других национальностей, потому что «французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, тогда как русскому равно доступны и социальность француза и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца ... Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами, другие выводят из этого весьма печальное заключение о бесхарактерности» 20).

Белинский присоединяется к первому мнению, заявляя: «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него... выдержали с честью ни один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой силе и крепости» 21).

«Не раз уже народу приходилось выручать себя. Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил» 22) — в тон Белинскому пишет Достоевский.

Сильное влияние на идейный генезис «Дневника» оказало творчество Герцена. Анна Григорьевна Достоевская писала, что за границей Достоевский жадно читал сочинения Герцена. В апреле 1867 года он упорно искал в библиотеках Дрездена журнал «Полярная звезда», который издавался Герценом с 1855 по 1869 г. В журнале печатались статьи самого Герцена, Огарева и произведения русских писателей и поэтов, запрещенные царской цензурой.

В этом журнале было опубликовано хорошо известное Достоевскому письмо Белинского к Гоголю. Анна Григорьевна сообщает, что Достоевский купил два номера «Полярной звезды», потом искал «Полярную звезду» за 1855 г., но не мог найти. В другой библиотеке взяли «Полярную звезду» за 1855-1861 г.». Через две недели следующая запись: «Мы опять взяли один номер «Полярной звезды» 23). 15-ого мая Достоевский берет в библиотеке «Былое и думы» Герцена. 1-го июня он обдумывает свою статью о Белинском. Первого июля покупает «Колокол» Герцена. 21-го июля сле-

дующая запись: «Мы спросили «Колокол». Федя рассмотрел 4-ую часть «Былого и дум» Герцена, но не купил, так как уже читал»²⁴): «28-го июля Федя работал, а я лежала в постели, перечитывая Белинского»²⁵).

Интерес, который возбудили у Достоевского произведения Герцена, нельзя отнести только за счет любопытства. Многие в них было созвучно ему и оказало на него определенное воздействие, как, например, мысль Герцена о том, что «вне России нет будущности для славянского мира, без России он не разовьется, — он расплывется и будет поглощен германским элементом»²⁶), или взгляд на Россию, как на «совершенно новое, не оконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работают и ... где ничто еще не достигло цели, где все изменяется»²⁷).

Нашли отражение в «Дневнике писателя» взгляды Герцена на будущее Европы: (Я вижу неминуемую гибель старой Европы), на отношение Европы к России («Европа нас не знает»), и на русский народ. Герцен рекомендовал Европе ближе узнать народ, «отроческую силу которого она оценила в бою, где он остался победителем». Герцен считал долгом русских писателей рассказать Европе «об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образцовал государство в 60 миллионов... о народе, который как-то чудно сумел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов... под позорным кнутом татарским... сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатырской натуры под гнетом крепостного состояния».²⁸)

Приводим несколько цитат из «Дневника», показывающих сходство взглядов Герцена и Достоевского. Последний как и Герцен полагал, что «без единящего огромного центра России — не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе»²⁹). «Мы, русские, народ молодой, мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет, но большому кораблю — большое и плавание»³⁰).

«Над всей уже Европой несомненно носится что-то роковое страшное и, главное, близкое»³¹).

«Европейцы мало знают Россию и русскую жизнь» и т. д. Достоевскому был близок взгляд Герцена на третье сословие и на неизбежность борьбы последнего с пролетариатом.

Следовательно, обдумывая издание «Дневника», Достоевский усиленно читал Герцена и писал статью о Белинском, перечитывая его сочинения. Можно думать, что произведения Герцена и Белинского помогли оформиться мысли Достоевского об издании своеобразного художественного и в то же время публицистического произведения. Это влияние сказалось и на форме. Так, например, «Былое и думы» Герцена близки к «Дневнику» по своей композиции. Та же свободная манера изложения. Бытовые картины, литературные характеристики и воспоминания, эпизоды, очерки, отдельные рассказы. Юмор, сатира, лиризм. Но в отличие от «Дневника», «Былое и думы» имеют ярко выраженный автобиографический характер. Достоевский создает новый жанр, хотя и учитывает опыт Герцена.

Не прошли для Достоевского бесследно годы пребывания среди петрашевцев. Следы идей молодости обнаруживаются в «Дневнике писателя» и большинстве его романов. Они выражаются в социальной заостренности произведений. Рассуждения на тему:

«Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь! Наступит такое чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки все это рухнет в один миг» ³²⁾ — часто встречаются в «Дневнике».

Кроме того, оказывается, что Петрашевский в 40-ые годы сам предполагал издавать журнал: «Наш журнал русский и для русских», — писал он в предисловии. Главной целью журнала ставилось: «возбудить, разбудить, вызвать чувство народности и самобытности во всех отношениях, главной мыслью, главной идеей, главным предметом должна быть Русь, и это должно быть развиваемо во всех направлениях» ³³⁾.

Как отмечалось, главной целью «Дневника» Достоевский ставил «разъяснение русской национальной духовной самостоятельности». В данном случае, как видно, комментарии излишни.

В «Дневнике» как бы продолжались диспуты, которые велись на собраниях петрашевцев. Достоевский пишет о будущем, которое ожидает мир, о революции, общественных отношениях, семье, о человеке и его потребностях, о литературе. Знакомство Достоевского с «Карманным словарем иностранных

слов, вошедших в состав русского языка» отразилось в сходстве отдельных замечаний. Например, объясняя слово «мистицизм» Петрашевский пишет, что представление о возможности особого сверхчувственного познания мира «есть величайшее заблуждение существующее с незапамятных пор» 34). В «Дневнике» за 1876 г. Достоевский замечает: «Спиритизм — без сомнения, великое, чрезвычайное и глупейшее заблуждение, блудное учение и тьма» 35).

Петрашевцев интересовала издательская деятельность. А. П. Баласогло разработал «Проект учреждения книжного склада и издательства». В нем он пишет каким требованиям должен отвечать хороший журнал. «Журнал — значит **дневник** событий (подчеркнуто нами Д. Г.). Казалось бы, где же лучше, как не в **дневнике литературных** событий, и быть суду или, по крайней мере, мнению, отзыву о являющихся книгах? Но увы! Сперва надо спросить, кому вести этот дневник?

Кому судить и рядить... о явлениях литературы? Неужели первому встречному, кто только набьет руку в статьеписании? Но если так, не будут ли эти дневники подобны летописям средних веков.

Если уже вести дневник событий, так вести самим знатокам дела, наблюдателям, созерцателям природы и развития человечества» 36).

Цель всей издательской деятельности, Баласогло тесно связывает с задачами, стоящими перед страной:

«Пора России понять свое будущее призвание в человечестве: пора являться в ней людям, а не одним степным лешим, привилегированным старожилам Русской земли, или заезжим фокусникам просвещения бродящим по ее захолустьям и трущобам с улыбкой пьяного презрения к человечеству России! Презрения только потому, что это человечество не имело счастья купаться в крови древнего мира, сокрушать его бессмертные памятники... и простосердечно свирепствовать в развалинах образованности, в потемках варварского молодечества готов, вандалов, франков, норманов — этих готенготов Европы! Россия есть сама другая Европа, Европа средняя между Европой и Азией... чудная, неведомая новая страна соединение всех крайностей. борьба всех противоречий, слияние всех характеров земли. Пора же остановить на этой стране взор ее же девственного любомудрия... В ней, и только в ней сосредоточены все нити всемирной истории... Пора

увидеть Россию, пора прозреть» 27).

По мнению Баласогло —

«Русский должен примириться сам с собою и быть самим собою, иначе ему не жить, а в этом акте он естественным образом будет примирителем Востока с Западом. Славянство России есть только та разумная среда, которой предназначено природой поглотить в себя все и вся и пережевать мысли мира и мысль России. Славянская душа есть избранный сосуд слияния народов и человечества... Ни Ассирии, ни Египта, ни Индии, ни Китая, ни Греции, ни самого Рима, ни даже Европы нехватало и никогда нехватит на подобную форму. Россия есть седьмая часть всего земного шара, славян до 80 миллионов душ, которые, за немногими исключениями, все как одна душа. Восток принадлежит России неизменно, естественно, исторически» 38).

Приведенные выдержки интересны тем, что в них как бы намечен ряд проблем, получивших развитие в «Дневнике писателя» Достоевского...

Можно думать, что генезис одного из рассказов «Дневника», «Сон смешного человека», связан с планом рассказа Д. Ахшарумова «Путешествие по вселенной». В последнем говорится о каком-то таинственном всезнающем существе, которое лежит вместе с путешественником в голубом эфире между миллионами огромных шаров. Таинственное существо говорит спутнику, что они видели множество жизней и теперь приближаются «к прекрасной, великой, но вместе с тем всегда страдающей и плачущей земле: все в ней томится и изнемогает... Наслаждения и мучения слиты вместе в одном сердце, в одной душе человеческой, идеалы, чувства, мысли облечены в образы... целую жизнь идеалы рвутся из этих условий и не могут превозмочь их — это мир несовершенный, больной, оттого он весь страдает, а между тем он мир одной природы, одного творца с лучшими мирами вселенной» 39).

Ахшарумов приходит к выводу, что человек сам носит в себе возможность счастья и свободы, но он пренебрегает ими и заглушает в себе сознание своей силы. Он обратился для своего освобождения к неверным и ничтожным средствам и живет измученный, обезнадеженный, не подвигаясь вперед к своей цели.

План и наброски рассказа Ахшарумова «Путешествие по вселенной» были написаны 30 июля 1848 г. Можно полагать, что Достоевский был с ними знаком. В рассказе «Сон смешного человека», так же как и в «Путеше-

ствии по вселенной» два героя. Один из них простой человек, а другой какое-то таинственное лицо. Так же как и Ахшарумов, Достоевский верит в то, что люди могут быть прекрасны и счастливы.

«Смешной человек» Достоевского, как бы перефразирует мысли героя рассказа Ахшарумова: «На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви»⁴⁰). Достоевский полагал, что все могло бы устроиться в один день и час, если бы люди исполнили завет «люби других, как самого себя» но они не исполняют этого завета и продолжают страдать.

Если даже предположить, что «Путешествие по вселенной» не было известно Достоевскому, все же близость идейного содержания обоих произведений говорит о мощном и одинаковом влиянии на обоих писателей атмосферы кружка петрашевцев.

«Дневник писателя» начал издаваться через четыре года после появления книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Говорить о влиянии этой книги на идейный генезис «Дневника» можно лишь учитывая, что Данилевский сам был петрашевцем и увлекался учением Фурье. Как и Достоевский он был заключен в Петропавловскую крепость. Впрочем, не попал под суд, а был только выслан из Петербурга.

Неоднократно отмечалось влияние на эту книгу славянофильский идей. Можно согласиться с тем, что она связана со славянофильством, но в то же время нужно иметь в виду, что это, в сущности не славянофильство, а особое учение, содержащее в себе новый взгляд на всю историю человечества, вернее новую теорию всеобщей истории. Это своеобразие было обусловлено влиянием идей кружка Петрашевского.

Данилевский отвергал теорию единого прогресса. Он полагал, что история есть ничто иное, как развитие отдельных культурно-исторических типов. Если славянофилы были уверены, что славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, то по теории Данилевского такой задачи не существовало. По его мнению, славяне были только особым культурно-историческим типом.

Данилевский доказывал возможность и необходимость новой славянской культуры, неизбежность создания нового славянского культурного типа, необходимость образования славянского союза, чтобы поставить Россию, не в ряд европейских государств, а ря-

дом с целою Европою. Данилевский отмечал враждебное отношение Европы к России: «Европа не признает нас своими, она видит в России и Славянах вообще нечто ей чуждое».41) «Европа, которая все знает, от санскритского языка до ирокезских наречий не знает одной только России».

«Нас замечательно не любит Европа и никогда не любила, никогда не считала нас за своих»42), — замечает Достоевский. Он разделял взгляды Данилевского на восточный вопрос, как на проблему, касающуюся будущности всего славянства, и был уверен в том, что Царьград, как центр православия, должен принадлежать России, и быть столицей всего славянства.

Нашел отражение в «Дневнике писателя» взгляд Данилевского на историю Европы, как на непрерывную борьбу, окончившуюся анархией религиозной, т. е. протестантизмом, анархией философской, т. е. всеотрицающим материализмом, который начинает принимать характер веры, и, понемногу занимает в умах место религиозного убеждения, и анархией политико-социальной, т. е. противоречиями между третьим сословием и пролетариатом.

Данилевский утверждал, что религия играла огромную роль в древне-русской жизни, и что русские люди сильны своим православием. С помощью религии могут быть разрешены все общественные противоречия. Славянский культурный тип будет синтезом всех типов, которые существовали до него, т. е. будет первым полным типом гармонически развитого человека.

Достоевскому были близки все перечисленные идеи, но в отличие от Данилевского, он не ограничивал деятельность русских только созданием общеславянского государства, полагая, что задача России общемировая, т. е. служение всему человечеству, объединение всего человечества в одну семью на основе любви и православия.

Подводя итоги всему сказанному, можно отметить сложность идейного генезиса «Дневника», но это не значит, что Достоевский, испытывая определенные влияния, ограничивался механическими заимствованиями и «Дневник» получился подобным одежде, сшитой из разных кусков материи. «Дневник» целое, глубоко продуманное произведение. Достоевский творчески перерабатывал то, что получал извне, хотя известная противоречивость и бесконечные поиски выхода из создав-

шегося положения, заставляли его испытывать колебания, что и отразилось на содержании и форме произведения.

Предыстория «Дневника».

При анализе «Дневника писателя» возникает вопрос имеются ли у Достоевского произведения близкие с «Дневником», или последний был своего рода единственным явлением?

С первым вопросом связан второй: о жанре. Имеет ли «Дневник» свой особый жанр или он является случайным собранием публикаций, статей, воспоминаний и художественных рассказов?

Для разрешения поставленных проблем целесообразно обратиться к творчеству Достоевского, так как только оно может дать ответ на эти вопросы. Рассматривая сочинения Достоевского, можно отметить, что контуры «Дневника» уже намечались в фельетонах 1847 года и в статьях журналов «Время» и «Эпоха».

Публицистическая заостренность фельетонов и статей и особая, свойственная Достоевскому манера, связывать частные случаи с общими проблемами, иллюстрируя их художественными сценами и описаниями, краткие, но яркие и выразительные характеристики и заключения — делали их в высшей степени своеобразными и отличали от его романов.

Вторым произведением, которое можно рассматривать как близкое по жанру «Дневнику», являются «Записки из мертвого дома» 1861 г. В отличие от фельетонов 1847 и статей журналов «Время» и «Эпоха». «Записки из мертвого дома» — произведение художественное, но своеобразие и особенности композиции позволяют выделить «Записки» из романов Достоевского.

«Записки» как и «Дневник» бессюжетны. В них как и в «Дневнике», автор дает полную свободу своим рассуждениям и высказываниям. Он как главный герой остается все время на сцене, делая свои замечания. Действующим лицом обоих произведений был русский народ.

Подтверждает высказанные соображения и прямая идейная связь «Записок из мертвого дома» с «Дневником». В «Записках» Достоевский замечает:

«Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. Стоит только снять наружную, наносную кору, и посмотреть на самое зерно повнимательней, по-

ближе, без предрассудков, — и иной увидит в народе такие вещи, которых не предугадывал. Не многому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться» 43).

Достоевский рассказывает о добродушии и беззлобии народа, его склонности прощать врагов, в случае, если они искренно раскаялись. Он говорит об особенностях русского характера и, исследуя натуру человеческую, приходит к выводу, что условия могут до того исказить человеческую природу, что «самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя».

Все перечисленные проблемы обсуждаются в «Дневнике писателя», так что мы можем говорить о влиянии «Записок из мертвого дома» на «Дневник» и рассматривать «Записки», как произведение, предшествовавшее «Дневнику».

Близки «Дневнику» по жанру и содержанию «Зимние заметки о летних впечатлениях», опубликованные в 1863 году.

«Зимние заметки» особенно близки «Дневнику» своей социальной заостренностью.

Достоевский в то время путешествовал по западной Европе и его весьма занимал вопрос о будущем мира. Писатель был в Берлине, Дрездене, Кельне, Париже, Лондоне, Люцерне, Женеве, Флоренции. Он видел жизнь целого ряда стран и народов, и пришел к весьма неутешительным выводам о западном строе. По его мнению, на Западе нет свободы.

Быть свободным и делать что угодно можно, когда в кармане миллион, а так как у каждого нет миллиона, то делать что угодно может только человек с миллионом, а «человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно» 44).

В Лондоне Достоевского поразило ужасное положение рабочих:

«Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ошупью стучаться хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале» 45).

Вопросы о четвертом сословии и судьбе челове-

ства нашли дельнейшее развитие в «Дневнике писателя».

Все рассмотренные нами произведения были предисторией «Дневника». Творчество Достоевского развивалось в двух направлениях: романы, рассказы, повести — с одной стороны, и статьи, записки, заметки — с другой. Сами названия говорили о различии. Вместо коротких и четких заглавий романов: «Бесы», «Идиот», появлялись целые предложения.

«Записки из мертвого дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях».

«Записки», «заметки» — все это показывало непосредственную связь произведений с жизнью и давало автору полную возможность высказывать свои мнения.

Таким образом «Дневник» имеет свою предысторию. Он не случайно вырос на пустом месте, а является своеобразным завершением определенного направления в творчестве Достоевского.

Если роман «Братья Карамазовы» можно рассматривать как вершину одного, то «Дневник» является вершиной и заключением второго.

Д. Гришин.

Примечания

- 1) Воспоминания А. Г. Достоевской, под ред. Л. Гроссмана, ст. 174, ГИЗ, М — Л. 1925 г.
- 2) Достоевский, «Письма», ст. 424, том I.
- 3). Достоевский, «Письма», ст. 44, том 2.
- 4). — — — — — ст. 53, том 2.
- 5). — — — — — ст. 72, т. 2.
- 6). — — — — — ст. 168, т. 2.
- 7). Гоголь, Н. «Выбранные места из переписки с друзьями», том 9. Изд. «Слава», Берлин, 1922 г., стр. 124.
- 8). Там же, стр. 141.
- 9). Там же, стр. 103.
- 10). Гоголь, Н. том 10, стр. 307.
- 11). Достоевский «Дневник» ст. 246, том 11.
- 12). Гоголь, том 9, стр. 272-273.
- 13). Достоевский. «Подросток», стр. 137, т 15.

- 14). Гоголь, том 9, стр. 79.
- 15). «Вестник Европы», номер 10, стр. 812—813, 1880 г., «Литературное обозрение», «Дневник писателя». Единственный выпуск 1880 года.
- 16). Достоевский, «Дневник», стр. 147, том 11.
- 17). Белинский, В. «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», стр. 654, т. 3, Огиз, Москва, 1948 г.
- 18). Там же, стр. 644.
- 19). Там же, стр. 652.
- 20). Там же, стр. 654.
- 21). Там же, стр. 654.
- 22). Достоевский, «Дневник» стр. 288, том 9.
- 23). «Дневник» А. Г. Достоевской, стр. 38, запись 30 апреля 1867 г., «Новая Москва», 1923 г.
- 24). Там же, стр. 174.
- 25). Там же, стр. 174.
- 26). Герцен, А. «Перед грозой», стр. 135, «Избранные философские произведения», том 1, Огиз.
- 27). Там же, стр. 139.
- 28). Там же, стр. 14.
- 29). Достоевский, «Дневник», стр. 40, том 11.
- 30). Достоевский, «Дневник», стр. 88, том 10.
- 31). Достоевский, «Дневник» стр. 301, том 11.
- 32). Там же стр. 495.
- 33). «Дело петрашевцев», стр. 547, том 1.
- 34). «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 146, Изд. Академии наук СССР 1953 г.
- 35). Достоевский «Дневник», стр. 163, том 10.
- 36). «Философские и общественно-полит. произвед. петрашевцев, стр. 529.
- 37). Там же, стр. 550.
- 38). Там же, стр. 552—553.
- 39). Ахшарумов, Д. «Путешествие по вселенной», стр. 668—669.
- 40). Достоевский «Сон смешного человека». стр. 132, «Дневник», том 11.
- 41). Данилевский. Н. Я. «Россия и Европа». стр. 49-50, изд. 5. С.-Петербург, типография бр. Пантелеевых, 1855 г.
- 42). Достоевский, «Дневник», стр. 151, том, 10.
- 43). Достоевский, «Записки из мертвого дома» стр. 177.
- 44). Достоевский. «Зимние заметки о летних впечатлениях». стр. 181, Париж, 1933 г.
- 45). Там же, стр. 171-172.